

Игорь Шестков "Почему мне неприятно читать Набокова"

ПОЧЕМУ МНЕ НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ НАБОКОВА?

Да, неприятно. Несмотря на неоспоримые достоинства его прозы. Но почему? Давно уже спрашиваю себя и недоумеваю...

В голову лезет брань и банальности – потому что он чванливый кот... барин... литературный садист-манипулятор, позер... умен конечно как дьявол, но... ум его противный... холодный... шахматный. И язык у него ужасный, неловкий, искусственный, похож на плохой перевод. Спотыкаешься на каждом десятом слове...

Дошло до того, что пришлось, скривив соответственно морду, спросить себя прямо... ты что, ревнуешь? Завидуешь? Как никак, Набоков – гений... признанный читательским сообществом... а ты – кто?

А тут еще Батшев подлил масла в огонь. Спросил, не навеяна ли моя «Обновка» Набоковым... Рассказом «Лик».

А мне-то так хотелось, чтобы пытливый читатель разглядел в «Обновке» гоголевскую «Шинель» (новые ботинки – новая шинель, потеря ботинок – потеря шинели, обида и страшная месть маленького человека миру, безумие и гибель, в конце – озарение... вполне советское, но не без «Записок сумасшедшего»).

...

Перечитал рассказ «Лик» (написанный Набоковым в Ментоне и опубликованный впервые в «Русских записках» в феврале 1939 года).

Лик – это псевдоним русского актера-эмигранта, из аристократов, играющего на театре во французской пьесе «Бездна» роль бывшего русского. Лик – интеллигентен, худ, высок, робок и вдобавок неизлечимо болен. Он предчувствует скорую смерть. Мечтает умереть на сцене и попасть после смерти в метафизическую реальность этой самой «Бездны».

В южном французском городе, на гастролях, он встречает бывшего своего

мучителя, в эмиграции – бедняка и неудачника – Колдунова. Тот терзает его юродивыми словоизвержениями, пытается выдрать из него деньги, приводит к себе. Лик убегает из его логова... у него начинается сердечный приступ. Лик едет на такси к Колдунову, чтобы забрать забытые у того новые туфли, и обнаруживает, что Колдунов покончил с собой выстрелом в рот.

...

Представляя читателю пьесу «Бездна», автор иронизирует: «...словом, все весьма интересно, весьма жизненно, на каждой реплике штемпель серьезной фирмы, и уж конечно ни один толчок таланта не нарушает законного хода действия...»

Вот эти «толчки таланта» мне и не нравятся в набоковских текстах, потому что их очень-очень много. Понимаю, что хотел сказать Набоков. Понимаю, что он не хотел использовать клише вроде «проблеск таланта». Но «толчок таланта», даже без сортирной аллюзии – это не по-русски.

О «штемпеле серьезной фирмы» я и не говорю.

Набоков описывает реакцию главной героини пьесы на ночное явление героя: «В разгар ночной грозы Игорь стучится к нам в дом, входит к нам со стеклом в руке; волнуясь докладывает, что в имении его благотельницы горит красный лес и что наш сосняк может тоже заняться. Нас это менее поражает, чем юношеский блеск ночного гостя, и мы склонны опуститься на пуф, задумчиво играя ожерельем...»

Все хорошо в этом издевательском описании, но некоторые сочетания царапают. «В разгар грозы» – плохо. Я не могу это доказать, но это так. «В разгар лета» – да, пойдет, а «в разгар грозы» – почему-то плохо. Может быть, общие согласные «г», «р» и «з» превращают это сочетание в переопределение, в навязчивое звукоподражание. «Во время грозы» – вполне достаточно.

У грозы нет разгара.

И «сосняк может тоже заняться» – плохо, лучше было бы просто написать «загореться».

Еще хуже – «юношеский блеск» (вроде как начищенного сапога).

И «опуститься на пуф» (на табурет) – неважно. Например на диван или софу можно «прилечь», а на табуретку – «присесть», но не «опуститься». Опускается

только занавес.

Набоков боится штампов... а литературный язык только из штампов и состоит. И мастерство писателя состоит не в том, чтобы придумывать новые сочетания-занозы, по четыре дюжины на печатный лист, а в том, чтобы штампы наполнять свежим содержанием, новой мыслью, новой жизнью – и давать им прорасти новыми побегам.

Описывая Лика, Набоков пишет: «...получивший небольшую известность благодаря фильму, где он отлично провел эпизодическую роль заики».

«Провел роль» вместо «сыграл роль» – это типичная набоковская заноза...

Затем Набоков срывается с иронии – на лирику: «Такого рода существа напоминают помещение со множеством разных дверей, среди которых, быть может, находится одна, которая действительно ведет прямо в сад, в лунную глубь чудной человеческой ночи, где душа добывает ей одной предназначенные сокровища».

«Помещение» – тут плохо, надо было написать «комнату».

«Лунная глубь чудной человеческой ночи» – китч.

«Предназначенные душе сокровища» – это и китч и клише... Подобные поэтические тривиальности сводят на нет все попытки Набокова избежать штампов.

В следующем предложении Набоков развивает метафору с дверями и сокровищами: «Но как бы то ни было, этой двери Александр Лик не отворил, а попал на актерский путь, по которому шел без увлечения, с рассеянным видом человека, ищущего каких-то путевых примет, которых нет, но которые, пожалуй, снились или, быть может, принадлежат другой, как бы не проявленной, местности, где ему не бывать никогда, никогда». Прекрасное развитие. Но возвышенное «отворил» тут лишнее.

«Попал на путь»? Попал на рельсы. Правильно «пошел по пути актера».

Нельзя «идти без увлечения» или «идти с увлечением», «идти» можно быстро или медленно.

И «путевые приметы» – плохо, размыто.

И «не проявленная местность» (местность не фотография) тоже неважно.

Не подумайте, что я придираюсь. Что имеет в виду Набоков – почти всегда ясно.

Голова его работала блестяще. Образный его строй – богат и разнообразен. Но его язык – неточен, занозист. А метафора только тогда работает, когда она сформулирована чистым, ясным языком. Стоит на ней появиться пятнышку... и все «толчки таланта» перестают достигать цели.

Есть в этой фразе кое-что еще, что мне не нравится. Это – проявившаяся в ней (по умолчанию) уверенность автора, что он-то в этой «не проявленной местности» – завсегдатай, мэтр, законодатель мод, что у него-то есть ключик от той самой, заветной двери, ему-то «лунная глубь чудной человеческой ночи» отлично знакома...

Разумеется, поэту и прозаику Набокову была доступна «сокровищница души»... но автору нельзя искусственно ограничивать возможности своего гомункула, нельзя своей волей устанавливать границы его личности... нельзя быть деспотом... даже таким блистательным деспотом, каким был Набоков. Литературный герой не должен оставаться пешкой... ему должна быть предоставлена возможность превратиться в ферзя... дорасти до автора и перерости его... хотя бы в ту самую критическую минуту, когда словесные декорации и одежды падают... и начинается таинственная метаморфоза, ради которой и пишется рассказ. Пресловутый «соколиный поворот»...

...

Набоков продолжает представлять нам Лика: «В условном же плане земного быта, ему было за тридцать, но все же на несколько лет меньше, чем веку, а потому память о России, которая у людей пожилых, застрявших за границей собственной жизни, превращается либо в необыкновенно сильно развитый орган, работающий постоянно и своей секрецией возмещающий все исторические убытки, либо в раковую опухоль души, мешающую дышать, спать, общаться с беспечными иностранцами, – у него эта память оставалась в зачаточном виде, исчерпываясь туманными впечатлениями детства, вроде соснового запаха дачного новоселья или ассиметричной снежинки на башлыке».

Автор начал говорить, потом увлекся метафорой, потерял мысль... затем нашел, нарочито неловко повторился и закончил фразу поэтической нелепостью.

Знаете, что такое «башлык»?

Это капюшон с обмотками вокруг шеи. Что он забыл в этой фразе? В этом печальном рассказе? Да еще и покрытый декадентски «асимметричными снежинками»... Перемудрил бабочковед.

«Сосновый запашок» – это ужасно. «Запашок» из сортира доносится. А у сосен – «запах».

Кроме того – ни «сосновый запашок», ни «асимметричные снежинки на башлыке» (какой такой вояка влез в текст?) – никак нельзя причислить к «туманным» впечатлениям детства... Острые и колючие они...

Определение «в условном плане земного быта» – (просится «бытия») хоть и саркастично, но нехорошо... Земной «быт» – условный план? Нет. Еще какой безусловный.

«Пожилые люди, застрявшие за границей собственной жизни» – тоже плохо.

Набоков ведь всего лишь хочет сказать, что пожилые люди живут своим прошлым. Можно написать «застряли в собственном прошлом», но «застрять за границей собственной жизни» – невозможно, потому что получается, что они застряли в пространстве (в котором есть некая ползущая граница), а речь-то тут идет о времени. Набоков часто сознательно мешает пространственные и временные характеристики, но получается это у него часто неловко.

«Память о России – орган, своей секрецией возмещающий исторические убытки» – идея хороша, хотя на мой вкус излишне физиологична (как ни странно, неприятные физиологические метафоры встречаются в текстах Набокова довольно часто, чаще, чем кажется, например, дальше в «Лике» мы встречаем – «после возни с ним всегда пахло зверинцем». Почти все мужчины в «Лолите», кроме главного героя, «пахнут козлом»).

Меркантильное слово «убытки» тут чужое. Ведь дело явно идет о «потерях». А «исторические убытки» – это просто никуда не годится.

Еще одна физиологическая метафора – «память о России – раковая опухоль души». Вроде бы сильно. Но плохо. Если уж «раковая опухоль души» – то конечно не «память», а сама Россия. Память опухолью быть не может, даже в метафоре. Другое дело – оставленная родина...

«Его родители умерли, жил он один, любовь и дружба, перепадавшие ему, все были какие-то сквозные, никто к нему не писал писем просто так, потому что

хочется, никто не интересовался его заботами живее его самого, и, когда недавно он узнал от своих докторов – француза и русского, – что у него, как у многих литературных героев, неизлечимая болезнь сердца, как-то не к кому было пойти и пожаловаться на незаслуженную шаткость его, его бытия, когда улицы так и кишат здоровенными стариками».

Ужасная фраза. «Здоровенные старики» – (Гренадеры? Полифемы? Голиафы?) это конечно всего лишь старики «здоровые».

«Сквозные» любовь и дружба тут – это «недолговечные», «проходящие», «проходные» связи. «Сквозными» бывают не дружбы и любви, а раны или темы.

«Неизлечимая болезнь сердца» – это конечно никакая не «шаткость его бытия», а смертный приговор Лику. Вынесенный не судьбой, не природой, и не внутренней необходимостью прозаического повествования... Даже не жанром, требующим драматической развязки. Это приговор автора, капризного судьи и палача, своему «тщедушному и нежному» герою. Облегчение литературной задачи.

Доведи героя до припадка, покуражься над его мучениями и смертными видениями и... заверши рассказ его смертью. Чего проще.

...

Колдунова Набоков представляет как некоего злого демона, «крокодила», засевшего глубоко в подсознании героя: «Но до сих пор бывали, конечно, сны, на них не было управы. И не только случалось, что Колдунов являлся ему в собственном виде, в обстановке отрочества, наскоро составленной сном из таких аксессуаров, как парта, черная доска, сухая, легкая губка; кроме этих бытовых снов, случались и сны романтические, даже декадентские, т. е. лишенные явного присутствия Колдунова, но зашифрованные им, пропитанные его гнетущим духом или полные как бы слухов о нем, положений и теней положений, каким-то образом выражающих его сущность, – и этот мучительный колдуновский фон, на котором разворачивалось действие первого попавшегося сна, был куда хуже прямых сновидений Колдунова, каким он запомнился, – грубым, мускулистым гимназистом, с коротко остриженной головой и крупными чертами неприятно пригожего лица: их правильность портили слишком близко посаженные глаза,

снабженные тяжелыми замшевыми веками, – недаром его прозвали крокодил, – в самом деле, было нечто мутно-глинисто-нильское в этом медлительном взгляде».

Что мне не нравится в этой, три раза подавившейся собственной лексикой, фразе?

Ее длина, ее неловкость, ее проседающий ритм и очевидный перебор.

«Романтические, даже декадентские, лишённые явного присутствия» Колдунова-крокодила сны?

«Зашифрованные им, пропитанные его гнетущим духом или полные как бы слухов о нем, положений и теней положений»?

Это не сны, это навязчиво нетривиальная набоковская проза, нашпигованная авторскими изюминками-занозами.

«Тени положений»?

«Тяжелые замшевые веки»?

«Нечто мутно-глинисто-нильское во взгляде»? У подростка? Бред.

Опять Сирий перестарался.

«Колдунов учился безнадежно плохо: особая русская безнадежность, когда как бы очарованный балбес стоймя погружается сквозь прозрачные слои классов, так что младшие постепенно до него дорастают в оцепенении страха и потом, через год, с облегчением оставляют его позади».

И тут тоже – образ понятен, хорош... но написано ужасно.

«Стоймя погружается сквозь... слои».

Набоков так описывает отношения Лика и Колдунова в детские годы: «Лик между тем был тщедушным, нежным и самолюбивым мальчиком, значит – собой представлял жертву идеальную, неистощимую. Колдунов на него наплывал без слов и деловито пытал его на полу, раздавленного, но всегда ерзающего; громадная, распяленная колдуновская ладонь производила отвратительно черпающий жест, забираясь в какие-то судорожные, обезумевшие глубины. Затем, на час-другой, он его оставлял в покое, довольствуясь повторением какой-нибудь непристойно-бессмысленной фразы, обидной для Лика, у которого спина была в меловой пыли и горели замученные уши; когда же опять надо было поразмяться, Колдунов со вздохом, даже с какой-то

неохотой, снова наваливался, впивался роговыми пальцами под ребра или садился отдыхать на лицо жертвы».

Прекрасное описание, написанное со знанием дела. Но и в нем есть неприятные шероховатости.

«Собой представлял».

«Жертва неистощимая» (телец упитанный).

«Наплывал без слов» (лучше бы – «молча наваливался»).

«Судорожные, обезумевшие глубины» (Это пах и гениталии? Как поэтично!).

«Горели замученные уши» (лучше «измученные»).

«Роговые пальцы».

«Впивался под ребра».

Вообще-то по неписанному кодексу детства после того, как кто-то сядет и отдохнет на твоём ЛИЦЕ, да еще и не один раз, – полагается при случае поднять первый попавшийся камень и раскроить обидчику череп. Если мальчик этого не делает – то обрекает себя на унижительное рабство у гнусного палача. Таков Лик Набокова. Он не раскроил череп Колдунову. Настоящая Достоевская дрожжащая тварь.

Впрочем, Набоков так холодно описывает болезнь Лика и его предсмертные мучения, что у читателя почти не возникает к тому сочувствия.

Колдунов – наглый палач, «проходимец с тяжелым лицом римского кесаря».

Органичный персонаж. Знакомый каждому. Он читателю противен, и автор не без удовольствия заключает с ним постыдный договор об убийстве и разбрызгивает в конце рассказа кровь Колдунова на рубашке его сына «Васюка» и на лбу его жены, «громадной белобрысой женщины с толстыми босыми ногами».

Русскую диаспору Набоков представил «ликом» и «колдуном». Жертвой и палачом.

Кстати, и Лик и Колдунов – из аристократов.

Простите, запямятовал, в рассказе фигурирует еще один русский – «болтливый русский старик» Гаврилюк, подленько сообщивший Колдунову адрес Лика.

Набоков не только презирает русских эмигрантов, он их представляет безнадежными нравственными уродами. Лика – делает трусливым, склизким,

бессильным, Колдунова – развязной агрессивной скотиной. А старика Гаврилюка заставляет чмокать.

Хуже Лика и Колдунова (какие нелепые, неудавшиеся имена!) – только русский полковник в «Лолите», забывший спустить воду после опорожнения своего мочевого пузыря в туалете Гумберта Гумберта.

Свое особое презрение к Лику (и к человеку вообще) Набоков выражает следующей фразой: «Противно признаться, но Лику случилось на людях в редких разговорах о прошлом вспоминать мнимого покойника [Колдунова] с той фальшивой улыбкой, коей мы награждаем далекое, доброе, мол, время...».

«И хотя Лик превосходно понимал, что живой, настоящий [Колдунов], ничего ему теперь не сделает, возможная встреча с ним почему-то казалась зловещей, роковой, глухо сопряженной с привычной системой всех дурных предчувствий страданий, обид, известных Лику».

«Встреча казалась»... «глухо сопряженной с привычной системой всех дурных предчувствий страданий».

«Встреча» сопряжена с «системой», да еще и «глухо»?

«Дурных предчувствий страданий» – это переопределение. Одно из слов лишнее.

...

И вот, Лик и Колдунов наконец встретились.

«Поцелуемся, – мрачно сказал Колдунов и на мгновение приложился к детским губам Лика холодной, соленой щекой. – Я тебя сразу узнал, – залепетал Лик».

Как Лик узнал, что щека у Колдунова – соленая? Он что, ее лизал? Я бы понял, если бы Набоков написал – «щетинистой» или «усеянной короткой рыжей проволокой». Или это слово потребовалось Набокову, чтобы отослать читателя к литературному отцу Колдунова – Соленому из «Трех сестер»?

И почему «залепетал», хотя тут должно стоять «пролепетал»?

Плохой русский у Набокова после 20 лет жизни на чужбине. Уверен, что он сам это понимал, потому и перешел позже на английский.

Никакого конфликта у Лика с Колдуновым не было.

Садист встретил мазохиста. Кинжал вошел в ножны. Хотя ножны и страдали и, вяло улыбаясь, отбрехивались, а кинжал умудрился чуть позже сам себя

прикончить...

Садист-то Колдунов, садист, но единственное, что ему Набоков разрешает – это затащить Лика в свою квартиру и немного перед ним поюродствовать. Кроме того, он купил на деньги Лика пачку папирос и две бутылки вина, ну и еще немного позадирал лавочника и его тещу, которым был должен. Лик, хоть и был слаб и безволен – денег ему не дал, не «озолотил» его. Проявил твердость?

Ножны?

Нет, это скупой автор не позволил ему дать Колдунову денег. Хотя, исходя из логики повествования... Колдунов должен был вначале «закошмарить» (без всякого удовольствия употребляю это новое русское слово, что подделаешь... подходит) Лика вербально, а потом распотрошить его как куклу... на лице которой он так любил прежде посиживать.

Автор этого текста сильнее своих персонажей, он не только как папа Карло вырезает их из дерева и раскрашивает их одежду, он вмешивается в их судьбу, в их поступки, он не слушает их речь и записывает ее для читателя, он диктует... делает за них ходы.

...

Пьяные рассуждения Колдунова, обиженного на судьбу (а стоило обижаться только на автора), зацепившую его «крючком за живую шею» и превратившую его в «мерзавца, на которого все харкают», «в последнюю хамскую тварь», которые еще немного и переросли бы в мордобой, прерывает не Лик, а жена Колдунова: «Олег Петрович расстроен, вы, может быть, теперь пойдете, – вдруг из угла сказала жена Колдунова с сильным эстонским произношением [лучше «акцентом»]. В голосе ее не было ни малейшего оттенка чувства [не «оттенка», а «следа»], и оттого ее замечание прозвучало как-то деревянно-бессмысленно [очень даже не бессмысленно – она хотела предотвратить позорную потасовку ее мужа с гостем и предотвратила].

Колдунов медленно повернулся на стуле, не меняя положения руки, лежащей как мертвая на столе, и уставился на жену восхищенным взглядом.

– Я никого не задерживаю, – проговорил он тихо и весело. – Но и меня попрошу не задерживать. И не учить. Прощай, барин, – добавил он, не глядя на Лика, который почему-то счел нужным сказать: Из Парижа напишу, непременно...

– Пускай пишет, а? – вкрадчиво произнес Колдунов, продолжая, по-видимому, обращаться к жене».

Самое неправдоподобное в этой сценке, можно даже сказать, самое фантастическое-фантазмагорическое – это словечко «восхищенным». Жена усмирила мужа одним своим деревянно-бессмысленным замечанием! Вызвала его восхищение. Оказывается, он был у нее под каблуком. И то, что Колдунов на нее не набросился... а заговорил «тихо и весело» должно означать, что он сломался, смирился (т.е. переборол свою злобную природу) и действительно решил отпустить с миром Лика, перестать бороться с миром... и покончить с собой.

Мне все это представляется абсолютно неубедительным... Налицо абсурдное вторжение автора в драматическую сцену, в заваренную им самим кашу.

«Тих и весел» тут вовсе не «озверевший» Колдунов, который, будь его воля, прибил бы Лика как тлю и еще и жене-эстонке (или, скорее, эстонской немке) и сынку своему Васюку показал бы, где раки зимуют, а писатель, автор, манипулятор, царь и бог... Он повелел, Колдунов подчинился. Потому что пришел его, автора, черед – мучить больного и слабого Лика. Что он и делает следующие две страницы... а Колдунова он решил списать в расход, а его тело использовать в роли куклы с открытым ртом, дыркой в черепе и с белыми тапочками на ногах.

...

«Лик бочком [«бочком» – слишком фривольно для такого момента] выплыл [«вышел» было бы лучше, хватит и «бочка»] на улицу. Сперва – облегчение: вот ушел из мрачной орбиты [нельзя «уйти из орбиты», можно «уйти из мрачной конуры», а с орбиты можно разве что «сойти»] пьяного резонера-дурака, затем – возрастающий ужас: тошнит, руки и ноги принадлежат разным людям, – как я буду сегодня играть? Но хуже всего было то, что он всем своим зыбким и пунктирным телом чуял наступление сердечного припадка; это было так, словно навстречу ему был наставлен невидимый кол [идея хорошая, но плохо сформулировано], на который он вот-вот наткнется, а потому-то приходилось вилять и даже иногда останавливаться и слегка пятиться».

«Он шел, рассчитывая каждый шаг, но иногда ошибался, и прохожие

оглядывались на него, – к счастью, их попадалось немного, был священный обеденный час, и когда он добрался до набережной, там уже совсем было пусто, и горели огни на молу, с длинными отражениями в подкрашенной воде, – и казалось, что эти яркие многоточия и перевернутые восклицательные знаки сквозисто горят у него в голове».

Тут Набоков одним словом («сквозисто») уничтожает собственную прекрасную метафору. Хотя можно было просто выкинуть это ужасное слово. Интересно, откуда оно пришло в текст Набокова, держу пари, из французского, на котором он возможно думал там, на Ривьере... Для писателя – опасно свободно владеть многими языками.

Все простить можно Набокову за следующую его фразу: «...все закружилось, сердце, страшным глобусом отражаясь в темноте под веками, стало мучительно разрастаться, и чтобы это прекратить, он принужден был зацепиться взглядом за первую звезду, за черный буюк в море, за потемневший эвкалипт в конце набережной»...

...

Умиравший Лик вспомнил, что забыл у Колдунова свои белые туфли.

«Зацепился» за эту мысль, как за звезду... Поехал на такси, чтобы забрать свою собственность.

Рассказ кончается следующей сценой: «К дому, где жили Колдуновы, автомобиль подъехал со стороны площади. Там собралась толпа, и только с помощью упорных трубных угроз [плохо] автомобилю удалось протиснуться [тоже плохо, автомобиль не прохожий, тут должно было стоять «проехать» или «подъехать»]. Около фонтана, на стуле, сидела жена Колдунова, весь лоб и левая часть лица были в блестящей крови, слиплись волосы, она сидела совершенно прямо и неподвижно, окруженная любопытными, а рядом с ней, тоже неподвижно, стоял ее мальчик в окровавленной рубашке, прикрывая лицо кулаком ... Полицейский, принявший Лика за врача, провел его в комнату. Среди осколков, на полу навзничь лежал обезображенный выстрелом в рот, широко раскинув ноги в новых белых...

– Это мои, – сказал Лик по-французски».

Конец рассказа хорош, хотя и не без картинного позерства автора-

престижитатора.

Чувствуется торжество мастера... умело завершившего литературную жизнь в тексте двух неприятных ему героев.

Нет... скорее нашедшего изящное решение для шахматной задачи.